

# Где Бог, там и любовь

*Сборник произведений  
русских писателей*



ИСТОЧНИК  
ЖИЗНИ

ББК 94.3  
УДК 82-3  
Г 26

**Г 26** **Где Бог, там и любовь.** Сборник произведений русских писателей / Составитель: А. Р. Ляху. — Изд. 2-е. — Заокский: Источник жизни, 2019. — 480 с., илл.

**ISBN 978-5-00126-068-4**

Данная книга представляет собой сборник рассказов и прозаических отрывков из произведений русских писателей XIX – начала XX веков.

Сборник в основном рассчитан на детей среднего и старшего возраста.

ББК 94.3  
УДК 82-3

ISBN 978-5-00126-068-4

© Редакционно-издательское оформление.  
Издательство «Источник жизни», 2019

# Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
<b>Владимир Даль</b>	
ПРАДЕДОВСКИЕ ВЕТЛЫ.....	12
<b>Иван Тургенев</b>	
ЖИВЫЕ МОЩИ.....	31
<b>Федор Достоевский</b>	
БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ.....	50
<b>Лев Толстой</b>	
ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ.....	136
ВОРОВ СЫН.....	151
БЕДНЫЕ ЛЮДИ.....	157
<b>Николай Лесков</b>	
ДУРАЧОК.....	165
НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ.....	174
СКАЗАНИЕ О ФЕДОРЕ-ХРИСТИАНИНЕ И О ДРУГЕ ЕГО АБРАМЕ-ЖИДОВИНЕ.....	187
ЛЕВ СТАРЦА ГЕРАСИМА.....	219
МАЛАНЬЯ — ГОЛОВА БАРАНЬЯ.....	230

<b>Егор Вагнер</b>	
ТЕЛЕПЕНЬ .....	241
<b>Сергей Семенов</b>	
ДИЧОК.....	261
<b>Дмитрий Мамин-Сибиряк</b>	
ПРИЕМЫШ.....	283
СЕРАЯ ШЕЙКА .....	295
<b>Всеволод Гаршин</b>	
СКАЗАНИЕ О ГОРДОМ АГТЕЕ .....	309
<b>Священник Петров</b>	
ДРУГ ОБЕЗДОЛЕННЫХ .....	322
ДАРЫ АРТАБАНА .....	332
<b>Александр Куприн</b>	
ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР.....	344
<b>Клавдия Лукашевич</b>	
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ .....	359
ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ .....	373
<b>Василий Немирович-Данченко</b>	
ДЕНЩИК САХАРОВ.....	411
ДЕВОЧКА В ПЛЕНУ .....	419
ДОЧЬ ПРОФЕССОРА .....	425
СЕСТРА.....	435
<b>Леонид Андреев</b>	
АНГЕЛОЧЕК.....	447
<b>Лидия Чарская</b>	
ЧАРОДЕЙ ГОЛОД.....	467

# Предисловие

«Мама, почитай мне что-нибудь!» — часто слышим мы эту просьбу от детей. И даже когда ребенок сам уже научился свободно читать, он все равно с огромным удовольствием слушает, как мама или папа читают ему вслух. Есть что-то необыкновенно притягательное в историях, которые мы слышим от своих родителей. Они как-то по-особенному проникают в душу. И когда тихим вечером, уютно устроившись на диване или в постели, ребенок внимает неторопливому рассказу, создается невидимая, но вполне осязаемая атмосфера полного доверия, открытости, сопереживания. Не стоит недооценивать этих минут. Мы не зря тратим драгоценное время: мы не только развиваем ум и душу своего ребенка,

---

но и созидаем наши будущие отношения, закладывая прочный фундамент взаимопонимания.

Сегодня многие родители-христиане справедливо озабочены выбором книг для детей. Казалось бы, сейчас такое разнообразие, столько ярких, привлекательных изданий! Однако мы предъявляем особые требования: мы хотим не только развлечения, не только информации для своих детей — нас волнует нравственный критерий, воспитательная ценность книги.

Именно поэтому в сборник, который вы держите в руках, вошли рассказы и прозаические отрывки из произведений русских писателей XIX — начала XX веков. Некоторые из них принадлежат признанным классикам: Толстому, Достоевскому, Лескову, Тургеневу — хотя, возможно, и не так широко известны, потому что мало изучались в советское время. Имена других авторов кому-то могут показаться неожиданными: не все знают, что рассказы и, в частности, рассказы для детей писали Владимир Даль и Василий Немирович-Данченко. Вошли в сборник и произведения почти забытых ныне писателей: Клавдии Лукашевич, Сергея Семенова, Лидии Чарской; а наши бабушки и дедушки в свое время очень любили их книги...

В основном сборник рассчитан на детей среднего и старшего возраста, хотя есть в нем рассказы, доступные и более младшим. Не беда, если какой-либо рассказ заставит пролить слезу, — это благотворное переживание. А над чем-то вы, может быть, по-

смеетесь или посочувствуете незадачливому герою. Главное — не остаться равнодушным к миру, людям, братьям нашим меньшим.

Верится, что чуткие и мудрые читатели расценят эту книгу не как сборник детских проповедей или дидактическое доктринальное чтение. Художественная литература воздействует на сознание своими особыми средствами — образами, картинами жизни и человеческих характеров, что более всего соответствует детскому восприятию. Очень интересно сказал об этом В. Г. Белинский. Он как литературный критик давал советы детским писателям. Однако же его наблюдения весьма ценны и для нас.

Вот что он писал:

«Дитя не требует выводов, доказательств и логической последовательности; ему нужны образы, краски, звуки. Дитя не любит идей: ему нужны историйки, повести, сказки, рассказы... Главное дело, как можно меньше сентенций, нравочений, резонерства: их не любят и взрослые, а дети просто ненавидят... У вас есть нравственная мысль — прекрасно; не выговаривайте же ее детям, но давайте ее почувствовать, не делайте из нее вывода в конце вашего рассказа, но дайте им самим вывести.

Не говорите детям о том, чего они еще не в состоянии понять своим умом; дайте им простое катехизическое понятие о Боге... но не пускайтесь с ними в диалектические тонкости философских определений, а старайтесь больше заставить детей полюбить Бога, Который является им и в ясной лазури неба, и

---

в ослепительном блеске солнца, и в торжественном великолепии восстающего дня, и в задумчивом величии наступающей ночи... и во всем, что есть в природе живого, так безмолвно, и вместе так красноречиво говорящего душе юной и свежей, — и, наконец, во всяком благородном порыве, во всяком движении их младенческого сердца...

Обращайте ваше внимание не столько на истребление недостатков и пороков в детях, сколько на наполнение их животворящею любовью: будет любовь — не будет пороков. Истребление дурного без наполнения хорошим бесплодно: это производит пустоту, а пустота беспрестанно наполняется — пустотою же: выгоните одну, явится другая. Любви, бесконечной любви! — все остальное ничтожно. „Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем“.

Равным образом, не искажайте действительности ни клеветами на нее, ни украшениями от себя, но показывайте ее такую, какова она есть в самом деле, во всем ее очаровании и во всей ее неумолимой суровости, чтобы сердце детей, научаясь ее любить, привыкало бы в борьбе с ее случайностями находить опору в самом себе. В одной истине и жизнь, и благо: истина не требует помощи у лжи. И потому конец вашей повести может быть и несчастным, в котором добродетель страдает, а порок торжествует; но вы вполне достигнете вашей нравственной цели, если юные сердца ваших маленьких читателей станут за

страждущим и не позавидуют торжествующим, если на вопрос — на чьем бы хотели они быть месте? — они, не колеблясь, ответят, что на месте страждущих, но добрых».

Надеемся, что эта книга поможет читателям — как юным, так и зрелым — утвердиться на пути Добра и Любви, потому что где любовь, там и Бог.

---

**Владимир Даль**



# Прадедовские ветлы

— Что рыло-то рукавом утираешь, сынок, аль уморился? — спросил старик, сидя на лавке по одну сторону большого угла, между тем как сынок его, Василий, у которого все лицо горело добродушной радостью, сидел по другую сторону и, отдуваясь, возил рукавом рубахи по всему лицу.

— Уморился, бачка<sup>1</sup>, — отвечал тот, отставив руку и глядя смеючись прямо в глаза отцу.

— Эх ты, поросенок! — продолжал этот, приветливо кивая бородой, — помотался парень туда-сюда, уж и уморился! И знать, что первинка тебе; а вот кабы бабушка заставила тебя еще по двору борону таскать, так и узнал бы ты тогда, каково это дело. — И расхохотался сам остроте этой. — Нет, Вася, хоть и сбегал ты раз десяток другой то за тем, то за сем на село, да помотался взад и вперед промеж избы да бани, на посылках, да

---

<sup>1</sup> Бачка — батюшка.

сбегал еще на погост<sup>1</sup> к попу за молитвой, а утомился ты, чай, не с этого.

— А с чего ж? — спросил сын, глядя все так же на отца.

— А с того, — продолжал тот, облокотясь на стол, — что сердце у тебя не спокойно было, что душа болела. Ведь я знаю тебя, сынок: молоду жену ты любишь, человек ты жалостливый и к чужим, не токма что к своим; ну, и выболело сердце, и захватило дух; а тебе чаится, что утомился.

Василий, не говоря ни слова, опять накрылся рукавом и сильно раз-другой всхлипнул, опять утерся и опять глядел на старика весело и спокойно.

— Пожалуй, что и поборонил бы, — сказал он, — кабы ей, сердешной, от этого легче стало; уж вот как поборонил бы! — И, сжав кулак, положил его на стол, с трудом опять удерживаясь от рыданий. Он хотел было прибавить: «жаль больно было Насте», да уж и промолчал, чтоб пуще себя не разжалобить.

— Ну, Вася, — сказал старик, — теперь молись: благодаря Бога все кончено. Вот ты меня и в деда пожаловал; спасибо тебе. Теперь новые заботы тебе: припасай, что нужно на размывку рук<sup>2</sup>, на кашки, на крестины.

«Вася! — послышался слабый голос молодой матери, — дай, голубчик, водицы испить, да студененькой, слышь, не стоялой». — «Зараз, Настюшка», — отвечал этот, и опрометью кинулся вон.

— Экий пряткий он у тебя, сношенька! — молвил старик радушно, поправив лучину на светце и оборотившись лицом к кутнику<sup>3</sup>. — «Твоя кровь, свекрушко, —

<sup>1</sup> Погост — кладбище.

<sup>2</sup> Размывка рук — обряд на третий день после родин, с подношениями повитухе.

<sup>3</sup> Кутник — род нар или прилавок в избе.

отвечала та приветливо, — еще чай сам ты в перегонки с ним пустишься, коли на то пойдет». И старик умильно и самодовольно расхохотался: ему как-то люба казалась выдумка снохи, чтоб ему бежать взапуски с сыном. «А что ж! — сказал он, — почему не бежать, поколе Господь грехам терпит? Ведь и то, восей<sup>1</sup> за мошенником, за бродягой этим, погнались, так ведь я, даром что старик, наперед всех выбежал, такую угонку ему дал, что он и в час не отпыхался».

В эту минуту вошел Василий с ведром воды в одной руке и с каким-то свертком в другой, прижав его к груди; а сверток этот визжал ровно как скучает несчастный закинутый щенок. Это явление до того наумило старика, что он, только вытаращив глаза, мог проговорить: «Господь с тобой, с нами крестная сила», а Настя кинулась к лежащему с нею рядом младенцу, будто спутавшись с памяти своей и не понимая, откуда ребенок их взялся с улицы. Василий поставил ведро и, поглядев светлым месяцем на старика своего и на испуганную жену, сказал: «Глядите-ка, вот что нам еще Бог послал! Глядите: живой ведь! Я иду от колодца, и много ли пройди-то, Настя, и всего-то ведь только повернуться, иду с ведром, да ведь чуть было не раздавил его, сердешного, Господь меня спас. Только вот что: туда бег — ничего не было, слышь, а оттуда иду — что мол такое под порогом: глядь, ан вон что!» После первых страхов и удивлений все трое стали было спрашивать друг друга, что делать с этим и как быть? Но молодая мать, потребовав младенца к себе, тотчас уложила его рядом с своим и объявила, что у нее теперь двойни, что Бог послал этого бесприютного, как Бог же послал им и первого, что надо вспоить и вскормить обоих. Василий на все

<sup>1</sup> Восей — когда.

соглашался, хоть и потужил было, что Насте уж больно тяжело будет; а старик и подавно. «Вот, сношенька, не было ни гроша, да вдруг алтын!» — «Ну, вестимо, куда же его девать? Божья воля; ведь не слепой щенок это, а душа человеческая: надо порадеть, Христа ради, да, помолившись, Ему славу воздать! Все молись, сынок, что ни пошлет Бог; и хорошее пошлет, молись, и худое пошлет — все молись. Мы ведь глупы, Вася, мы и худа от добра не распознаем; а Господь старый Чудотворец: все знает; на Него и полагайся».

— Надо сбегать к сотскому<sup>1</sup> сказать, да выборному<sup>2</sup>, — молвил, спохватившись, Василий, — чтоб не стал браниться становой<sup>3</sup>.

— Ну что ж, сбегай... — отвечал старик, подошел к снохе и прочитал еще наставление о том, как должно бояться Бога и во всякое время молиться.

Сводные двойники крещены были одним именем «Кириаком» по времени рождения, в конце сентября, священник прибрал им имя это; а для различия родного всегда называли Кирюшей, а подкидыша — Кирей. Крестины отпраздновали очень весело и шумно, потому что люди много глумились над добродушным Василием, у которого, на диво всему народу, оказался свой сын, как у жены его свой, что видно у них с женой за спором дело стало. «Где ты выборонил сынка?» — спрашивал один. «Да вишь не хотел уступить жене», — отвечал за Васю другой; а все заканчивали шутки эти завереньем, что за доброе дело их Господь не покинет и что станут они жить благословенно. Баушка-повитуха изготовила мужу Насти такую ложку каши, что у него было очи на

<sup>1</sup> Сотский — род полицейского надзирателя из крестьян.

<sup>2</sup> Выборный — сельский староста.

<sup>3</sup> Становой — государственный чиновник, надзиратель.

лоб вылезли; тут было более соли и перцу, чем каши. Все это немало способствовало общему веселью; а дедушка, опередивший всех, как восей догоняли бродягу-конокрада и давший ему такую знатную угонку, проплясал цыганскую с ложками, объявив, что будет плясать еще на свадьбе обоих внучат своих, а там уж и полно.

Тяжеленько было семье этой выращивать двойней, но Настя кормила обоих одинаково, то грудью, то рожком, а дедушка, у которого был свой маленький достаток, помогал им по временам то нужной скотинкой, то хлебцем, то наймом работника в страду. Кирюша и Киря росли так, что и отец и мать забыли о всякой разнице между ними, называли и считали их обоих родными детьми своими, двойнями, а за Кирей было у них даже более хлопот и забот, чем по родном сыне, потому что Киря выдался гораздо похилее названного двойничка своего, и за ним было более ухода.

Парнишки стали подрастать родными братьями и вышли преудатными ребятами; но приемыш Киря отставал и в росте, и в дородстве от двойничка своего, и дедушка был этим очень недоволен, пеняя почасту на сноху, «что люди-де со стороны корить станут, скажут, плохо кормишь его». «Его воля», — отвечала Настя, у которой после первенца не было вовсе более детей: «не пайком отпускаем, не с весу», и вслед затем принималась уговаривать Кирю, чтоб больше ел. В доброй крестьянской семье и дети удатны<sup>1</sup> бывают, и самое бестолковое воспитание идет впрок. Знаете ли отчего это? Оттого, что господствующим влиянием на детей бывает любовь и благодушие, а преобладающим примером — мир и кротость. Вот в чем заключается вся

<sup>1</sup> Удатны — удачны.

тайна воспитания. Все, что за сим будет упущено или искажено, большей частью исправляется само собою исподоволь, когда бывший ребенок начинает входить в год и, постепенно мужая, наживает свой разум. Поэтому мы и видим постоянно, что хорошие и дурные крестьяне родом ведутся, как хохлатые курицы двором и, назвав крестьянскую семью, всегда можно сказать о ней, какова она вообще, а редко придется делать резкие изъятия для некоторых ее членов.

Пришла Святая<sup>1</sup>; семья наша воротилась из церкви, помолилась еще раз перед домашним образом, пере-христосовались<sup>2</sup> снова и принялись разгавливаться<sup>3</sup>. Кажется, день этот, глядя на него со стороны, такой же, как и все дни; нет в нем никаких стихийных примет и отличек, а между тем, кому не кажется он, несмотря ни на какое ненастье, днем светлым, радостным и праздничным, которому в году нет ровни, ни дружки? А в крестьянском быту, в хорошей семье и подавно: все заботы, все насущные труды и суеты покоятся, нет на душе ничего, кроме ясной и светлой радости; сброшены с плеч тяжелая, а с ним и черствая вещественность, нужда настоящая и забота о будущем. Бог дал дожить до светлого праздника — и на селе встречаешь одни только спокойные, радостные, беззаботные лица. Мужик с окладистой бородой, забыв степенство свое, ладит для молодежи качели и, сев на них сам первый, для опыта, до того расходился, что не хочет слезть и дурит с малыми ребятами и девками, которые стаскивают его за ноги и за полы; седой как лунь, дедушка с трясуцей

---

<sup>1</sup> Святая — Пасха.

<sup>2</sup> Христосоваться — поздравлять поцелуями друг друга с воскресением Христовым.

<sup>3</sup> Разговеться — принять пищу (выпить вина) после поста.

головой, не только в чистой, но и в новенькой рубахе с иглочки, стружит и правит лубочек<sup>1</sup>, с которого внучки станут катать яйца; а внучки мечутся вокруг него кувырком, другие скачут пробками на одной ноге, с дикими припевами, и только одна скромная девочка стоит перед ним смиренно, уставив глаза на лубочек, засунув большие пальцы обеих рук по самую ладонь в рот, а средние персты в оба уха. Затыкая и оттыкая их в скорой перемежке, она забавляется этим, вслушиваясь в нестройный крик прочих девчонок и ребятишек...

Наш дедушка, однако ж, схвастал, когда обещал плясать на свадьбе внуков: лубочек он бы, может стать, еще и согнул бы кой-как, а уж качелей бы не поставил и в дело никуда более не годился. Двадцать лет на-кости, к пятидесяти, много горба прибавят и навывередки<sup>2</sup> уж больше не побежишь ни с кем. После разговенья и завтрака захотелось ему сказать слово семье, и он велел всем опять присесть. Вот слово его:

— Привел мне Господь еще раз с вами, детки, разговеться, да чу, в последний. И пора! Ты не мигай, сношенька, не страшно умирать; это не лапти ковырять: лег под образа да выпучил глаза — и все тут. Как вел меня Господь путями своими, так и примет. Его милосердью предаюсь. Плакать не по што, детки, Бог не без милости, а пора мне опрастывать место на печи: часом посушиться да погреться надо и другому. Ну, в покойники я не напрашиваюсь. Его святая воля; жить мне с вами и куда как было хорошо! Все вы меня покоили, все вы меня берегли; а все заживаться не след. Вы, Кирюша да Киря, смотри у меня, любить да почитать отца-мать; не то и молитвы не примет от вас Господь и

<sup>1</sup> Лубок — липовая дощечка.

<sup>2</sup> Навывередки — наперегонки.

моих грехов не замолите: так мне тяжело будет на том свете, и буду я страдать долго.

Кирюша с Кирей встали и повалились деду в ноги<sup>1</sup>. — Ну, Господь вас благословит: вставайте, садитесь, да слушайте, к чему я речь веду. Вы, Вася с Настей, живите по-людски да по-божески, и все молитесь, что бы ни послал Господь, все молитесь: потому, видишь, что мы глупы, и добра от худа и худа от добра не распознаем, а Он все строит по-своему, никого не слушает; вот ты и подавайся по волосам — легче будет голове. Все молись, а не споруйся. В Покров жените парней — пора. Берите снох смирных, чтоб в избу глядели, а не вон. Ты, Вася, оставайся большаком, а их не распускай на отдел; пуще всего не давай снохам ссориться: так не из чего будет расходиться; мужики-то поладят; семь топоров вместе под лавкой лежат, а две прялки врозь. Это твое дело, Настя, смирных выбери да держи любовно. Доживу, сам благословлю; не доживу, так не прогневаются. Речи мои слышали; теперь, вставши помолимся да и ляжем отдохнуть, а светлый день перед нами. С нами Христос!

Если б дед прожил после этого еще долго, то слова его на большую половину были бы забыты; но как он умер спокойно на Фоминой, напомнив еще всем о том, что наказывал, то речи его врезались в память каждого и поминались то тем, то другим, при всяком случае. Старик оставил сыну рублей с триста, да устроенное общими силами хозяйство.

К Покрову приисканы были невесты и благополучно засватаны, а свадьбам, разумеется, быть в один день. Настя стряпала это дело и выбирала осторожно невест смирных, да условилась с мужем, что обеих невесток, по вводе в дом, заставить вместе помолиться и прило-

<sup>1</sup> Глубокий поклон до земли.

житься к образу, что ссориться и наговаривать друг на друга мужьям не станут, а потом велеть поцеловаться и поклониться отцу-матери; затем и сыновьям помолиться и, побратавшись перед образом, обменяться тельными крестами.

Все это было хорошо, да вышла небольшая помеха. К осени, как выражаются крестьяне, царский колокол прогудел на всю Россию: сказан набор<sup>1</sup>. Весть эта сперва и не смутила было Василия, потому что он считал себя одиночкой, как отец с одним сыном, не подумав о том, что Киря как узаконенный приемыш приписан был к семье по народной переписи, а потому и все равно, сын ли он, племянник, брат ли, чуж ли чуженин, — он вошел в счет работников, и от тройников одного отдать придется. В общих и ни на чем не основанных словах: «кажись, семья моя молода, есть постарше», заключается вся надежда нашего крестьянина, и только немногие, большесемейные, стоящие на первой очереди, либо вообще более толковые и заботливые, знают очередь свою наперед и ждут ее: большую часть застигает она врасплох.

Так случилось и тут. Собрали валовую сходку и прочитали ученый список, в коем семьи всей волости писаны сподряд, по старшинству очереди; выслушали человек десятков, кои сомневались, почему они стоят выше такой-то семьи, которая, кажись, старше: растолковали им дело и затем вызвали по сему списку коренных, подставных и запасных, объяснив каждому, в которую голову он идет в ставку, осмотрели их, подвели под меру, объявили, когда опять собираться для отвоза в город и ставки, и распустили сходку. Семьи, оставшиеся под очередью, быстро, весело и шумно со-

<sup>1</sup> Набор новобранцев в царскую армию на 25 лет.

брались и разъехались и разошлись первые; за ними потянулись и запасные, в надежде, что очередь до них не дойдет, и те из подставных, которые бойко следили за осмотром и отметкой коренных и также рассчитывали, по числу годников, что и их не должна хватить очередь. Остались в отсталых коренные, которым все еще казалось, будто они не все растолковали начальству, что до положения их семьи относилось, и будто есть семьи и постарее ихней. В этом числе был и Василий с Кирюшей и Кирей. Постояв на сходе, перетолковав между собою все и похлопав несколько раз руками о полы, пошли они в приказ, и Василий решился выступить вперед и подойти к начальнику.

— Как так, ваша милость, семье моей сказана очередь? Я всего вот сам-друг с сыном, а это у меня чужой, только принят в дом, то есть только и вины моей, что я выкормил его.

Тот отыскал семью в учетном списке и объявил Василию, что семья его тройниковая, а по сложности лет 42, стоит на первой очереди, в коренных, между такими-то двумя семьями, по таким-то причинам учетных правил; что родной и неродной сын считается таким же ратником<sup>1</sup>; а как оба они холосты, то старший бы должен идти в первую ставку; но как они и одних лет, то надо им кинуть жребий, и вызвал отца сделать это сейчас.

— Жребий кидать нечего, — отвечал Василий: — Киря не выходит в меру, он коротыш.

Начальник взглянул еще раз на список и сказал:

— Правда твоя, я не досмотрел. Стало быть, пойдет твой Кирияк. Миновать нельзя.

— А кабы того не было, подкидыша-то, так мне бы не отдавать и сына?

---

<sup>1</sup> Ратник — солдат, воин.

— Конечно, нет; тогда бы вы были двойниками на правах одиночек.

— Как же так? — сказал Василий со вздохом, — что приняли мы подкидыша с улицы, так в этом мы и виноваты стали? А подкидыш не дорос, так за эту вину отдать будет родного сына — ведь он у нас один только и есть...

— Жаль тебя, Василий, а делать тут нечего, дело законное. Ты слушай да пойми меня: семью Маленкова знаешь? Ну, у него один же сын, Сергей — так ли? Да племянник Иван приписан, который шатается где-то и дома не живет, и Маленков такой же тройник и отдает теперь сына последнего. Таких найдется много; где по переписи три работника, там одного отдай. Понял?

Василий вздохнул и молчал. Говорить было нечего.

— Что ж, — продолжал тот, — коли сделал божеское дело, принял, вспоил и вскормил безродного, так неужто ты теперь об этом пожалеешь?

Василий взглянул на начальника почти теми же радушными глазами, как глядел на отца в тот вечер, когда утирался рукавом, полагая, что уморился, то есть за полчаса до того, как найден и принят был Киря.

— Нет, — молвил он, — сохрани Бог от греха, жалеть не стану. Да и ровны они мне оба; обоих хозяйка выкормила разом, двойни они мои...

— Говори, говори, Василий, — сказал ему начальник, видя, что он замолк, не досказав всего.

Слеза прошибла Василия, но он продолжал:

— Разумеется, что два сына у меня, вот они. Старик отец на Фоминой помер — царство ему небесное! — так и умирая, наказывал: «Ты, говорит, все молись, Василий; и хорошо придет — молись, и худо придет — все молись; потому, говорит, что мы глупы, и худо-то от добра и добра от худа не распознаем». Вот что!

Наш Василий принадлежал к чисто земледельческому разряду крестьян нагорных уездов. Он не мог принять весть об отдаче сына в солдаты с таким спокойствием, как это обыкновенно делается в волостях заволжских, промысловых. Сколько ни утешал он себя и Настю тем, что надо же кому-нибудь служить великому Государю, что Бог его и там не оставит, что отец не велел роптать ни на что, а велел только молиться, — а конец концов все-таки был тот, что надо расставаться с одним<sup>1</sup> своим навсегда. Кирюша с Кирей повесили носы и молчали; второй, надумавшись как-то, стал было робким голосом плакаться на судьбу свою, что вот из-за него отдают теперь названного брата в солдаты, что лучше бы ему было утопиться, чем взводить такое горе на отца-мать, кормильцев своих; но Настя первая зажала ему рот, сказав: «Молчи, молчи, Господь с тобой, не реши, Божья воля; нешто ты не дорос по своей воле? Божья воля, дитятко, молчи!» А Кирюша, сидя кулем на лавке и свесив головушку, прибавил: «Про это что толковать, Киря? Уж тебе ли, мне ли, а кому-нибудь идти надо».

Вошел в избу сосед, также хороший мужик, посмотреть, что делается у Василия, да потужить с ним. «Что, Василий, — спросил он, помолвившись, — как думаешь?» — «Да что думать тут? — отвечал тот, — видно, снаряжать Кирюшу да благословлять». — «А что б тебе, Василий, понаведаться в Борисово; там, намолчка<sup>2</sup> была как-то, Иван Верзилин — чай Верзилиных знаешь? — был слух, что продает он квитанцию».

Василий взглянул было радостно во все глаза на соседа, который навел его на новую думку, не бывавшую

<sup>1</sup> Одинец — единственный сын.

<sup>2</sup> Намолчка — слух.

у него до сего и в голове; но потом, вздохнув, сказал: «Что ж, квитанция, чай, не по мне придется». — «Однако, — продолжал тот, — понаведалься бы, Бог милостив; я человек не замочный<sup>1</sup>, сам знаешь, а коли ребята твои на год пойдут в кабалу<sup>2</sup> ко мне, по пятидесяти дам — вот и сотня».

Настя кинулась просить мужа послушаться этого совета; парни молчали. Не чая успеха, Василий, однако ж, сказал большое спасибо соседу, а сам, не откладывая дела, встал, взял шапку, перекрестился и пошел. Часа через три он уже и воротился; но добрых вестей не принес. Верзилин поставил, года три назад, охотника, и квитанция береглась у него до очереди; между тем у него выбыл один работник, умер племянник, а сам он вышел из лет, то есть исполнилось шестьдесят; таким образом квитанция стала лишней, и он продавал ее, но не отдавал ниже 600 серебром, за наличные. У Василия отцовских денег было сотни три, да одна своя, прикопленная, да сто давал сосед, за годичную кабалу, а одной не хватало и добыть ее негде. Как ни раскидывали на умах, нет ее! Продать, кроме одной лишней лошадки, коли сыновья дома пахать не станут, нечего; займы никто не даст, опасаясь в таком случае, что мужичок, отдав последнее и распродав все, падает в быту своем и делается несостоятельным. Потолковали еще на другой и третий день, и решили, что, зная, так Богу угодно, а Кирюше судьбы своей не миновать.

На улице слышались голоса толпы, и Василий, оглянувшись позади себя в окно, увидел целую ватагу костромских шерстобитов<sup>3</sup>, с Ветлуги, которые остано-

<sup>1</sup> Здесь: не скупой.

<sup>2</sup> Кабала — работа на хозяина по договору.

<sup>3</sup> Шерстобит — валяльщик, выделяющий шерсть.

вились с оружием своим, полуторасаженными лучками<sup>1</sup>, прямо против двора его, поглядывали и что-то толковали. Вслушавшись, Василий, однако, не мог понять, в чем дело. «Чаво, — говорил один, — нет, не пятьдесят, а выйдет и цела сотня; ты гляди, четвертей по 20 будет, вот что». — «А дуплясты, — заметил другой. — «Ну, дуплясты, — сказал третий, — так сотни не выйдет, а все без малого». Что они далее говорили, того Василий и вовсе не мог понять, потому что беседа их продолжалась уже на не русском, а на вовсе незнакомом Василию языке. Потолковав, шерстобиты спустили лучки свои одним концом с плеч на землю, как бы для отдыха, а один из них пошел в избу Василия.

Надобно знать, что этот народ, костромские шерстобиты, ходят с лучками своими по всей России, не исключая и Сибири, на заработки, и нередко занимаются, где случится, и другим промыслом: они же тележники, саники, колесники и дужники. У них свой, придуманный ими язык, как у владимирских, тверских и костромских офеней<sup>2</sup> или коробейников, но только другой, то есть слова у них большей частью другие. Так, например, скоро, у офеней: *рыкло*, у шерстобитов *шатрово* или *башково*; веник у офеней *пленальник*, у шерстобитов — *било*; сноп у офеней *зяблик*, у шерстобитов *ломежь* и проч. Вот почему Василий не мог понять ни слова, как только шерстобиты заговорили по-своему.

Итак, один из них вошел, помолился и проговорил бывалым землепроходцем: «Бог на помочь в окно глядеть, без пирогов не садиться, безо щей не ложиться, без красных невест женихов не держать! Дома ль хозяин?» «Благодарим покорно, я хозяин, — отозвался

<sup>1</sup> Лучки — орудия для выделки шерсти.

<sup>2</sup> Офеня — мелкий странствующий торговец.



Василий, — с чем Бог принес?» «Ну, — продолжал краснобай, — хозяину гумно гора горой, хозяйшке свету полны воробья, полны коробья, добрым молодцам по бархатну чапану, а тебе, честной хозяин, подносим бархатну шапку — в простой ходить тебе не годится. Берешь, что ль?»

Хоть и не до веселья было теперь бедному Василию, однако ветлужанин рассмешил его. «Бай, что ли, — сказал он, — а я не дам толку твоим речам». «А вот что, — продолжал тот, — три ветлы стоят на дворе у тебя; они чай не заветные; постоят еще год-другой — знать уж и так больно переспели — да и надъест их дупло, а ветром повалит, храни Бог убьет кого. Мы дужники, поработаем тут около них, и деньги дали б хорошие. Можно ль посмотреть да обухом ударить: есть дупло, так скажется».

Василий встал и вышел с ним на двор; вся артель, приставив лучки свои к избе, окружила три огромные ветлы, посаженные когда-то, никак лет тому восемьдесят, прадедом Василия. Тогда воткнуто было с десятков хворостин, три из них уцелели и стояли теперь, красуясь в дымчатой листве своей и покрывая увеем пол-двора и пол-улицы. Пни их были четвертей по двадцати в обхвате. Постучав обухом тут и там, уверившись, что дупла нет, и покричав на своем, никому незнакомом языке между собою, они подошли к хозяину, и артельщик спросил Василия, что возьмет он за три ветлы эти на сруб, и с тем, чтоб выработать дуги у него на дворе, а за хлебное-де плати особо. Пожалел было Василий прадедовских ветл своих и сказал: «Нет, не хочу, не дам рубить». Вся артель напала на него и божилась, что вот только стоять им до первой бури, а там и свалит их, и еще — сохрани Бог! — кого придавит. «Ну, — сказал артельщик, протянув руку, — пятьдесят

целковеньких взял, что ли». Василий выпучил глаза: не слышал он, чтоб такие деньги давали за три ветлы. Однако он крепился. «Нет, не беру». С шумом, криком и божбой заставили его против желания поставить руку артельщику, между тем как тот все набавлял и бил срозмаху по руке его, и дошел наконец до семидесяти пяти целковых. Какой-то говор пробежал по артели, и большак, отдернув руку свою, молвил: «Ну, Бог с тобой! Ой да, пойдём, братцы». Василий остановил их и послал Кирю за соседом, который брал ребят в кабалу. «По рукам, — сказал сосед, — и не думай больше. Давай гнедого своего на придачу к парням — ведь опять на две сохи пахать станешь — купишь, а теперь он у тебя будет в лишних. Бог с тобой, Василий, человек ты и сосед добрый: доплачу остатки, двадцать пять целковых за тебя, и шестая сотня полна. Бери денежки да беги к Ивану, в Борисово, чтобы кто не перебил. Даст Бог здоровья, наживете больше. Вот, парней-то женишь ныне, ан две работницы в доме; а девки те хорошие, работающие».

Василий перекрестился, получил деньги с шерстобитов, получил и с соседа: Кирюша с Кирей отвесили ему по низкому поклону, глядели ему в глаза, чтоб, в чем нужно, прислужиться, а сами не могли отбиться от докучливой слезы. Настя обняла и его, и детей; достал он свою денежку про черный день, счел все — шестьсот гладко, опять перекрестился, пошел и воротился еще засветло с квитанцией. Ветлужцы храпели вповалку под своими ветлами.

— Вот оно и выходит так, — сказал Василий за ужином, среди радостной семьи своей, — что надо всему молиться. Что не придет, все молись. Господь, старый Чудотворец, знает, что строить.

**Иван Тургенев**





# ЖИВЫЕ МОЩИ

*Край родной долготерпенья —  
Край ты русского народа!*

Ф. Тютчев

Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться! И резиновые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало...

Непромокаемые плащи, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями — точно, на первых порах, как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстух и текла вдоль спинного хребта... А уж это последнее дело, как выразался Ермолай.

— Нет, Петр Петрович, — воскликнул он наконец. — Этак нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакам *чучье* заливаает; ружья осекаются... Тюфу! Задача!

— Что делать? — спросил я.

— А вот что. Поедьте в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит; отсюда верст восемь. Переночуем там, а завтра...

— Сюда вернемся?

— Нет, не сюда... Мне за Алексеевкой места известны... многим лучше здешних для тетеревов!

Я не стал спрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существования которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но нежилой и потому чистый; я провел в нем довольно спокойную ночь.

На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; все кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном

воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росой. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно — всею грудью. На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились Бог ведает откуда занесенные, остроконечные стебли темно-зеленой конопли.

Я отправился по этой тропинке; дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмости, и на них, прикрытая одеялом, какая-то фигура... Я пошел было прочь...

— Барин, а барин! Петр Петрович! — послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый. Как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Петр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. Он доносился до меня из угла, с тех, замеченных мною, подмостков.

Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать — только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая паль-

цами, как палочками, две крошечные руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, — но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу — силится... силится и не может расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, барин? — прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ. — Да и где узнать! Я Лукерья... Помните, что хорооводы у матушки у вашей в Спасском водила... помните, я еще запевалой была?

— Лукерья! — воскликнул я. — Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин, — я. Я — Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которую ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!

— Помилуй, Лукерья, — проговорил я наконец, — что это с тобой случилось?

— А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастьем моим, — сядьте вон на кадусечку, поближе, а то вам меня не слышно будет... вишь я какая голосистая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидела вас! Как это вы в Алексеевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки.

— Меня Ермолай-охотник сюда завез. Но расскажи же ты мне...

— Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова — помните, такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки у вашей служил? Да вас уже тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью... уж и до зари недалеко... а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поет сладко!.. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг мне почудилось: зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!..» Я глядь в сторону, да, зная, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось... Дайте дух перевести... с минуточку... барин.

Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — полно и ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь

у меня за такая. Чего они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего. Совсем я окостенела под конец... Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно... ну, и переслали меня сюда — потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это однако же ужасно, твое положение! — воскликнул я... и, не зная, что прибавить, спросил: — А что же Поляков Василий? — Очень глуп был этот вопрос.

Лукерья отвела глаза немного в сторону.

— Что Поляков? Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалече. Аграфеной ее звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава Богу, хорошо.

— И так ты все лежишь да лежишь? — спросил я опять.

— Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно станет — меня в предбанник перенесут. Там лежу.

— Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?

— А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то почитай что не ем ничего, а вода — вон она в кружке-то: всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, нет — да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была... Вы ее не

встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, — были да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш... на что приятнее!

— И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?

— А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает.

— Это каким же образом?

— А у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землю роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить? — многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: «Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоём состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила: «А мысленный грех, батюшка?» — «Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не великий».

— Да я, должно быть, и этим самым мысленным грехом не больно грешна, — продолжала Лукерья, — потому я так себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорей проходит.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты все одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хотя и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не дает спать как следует. Нет... а так лежу я себе, лежу-полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на песке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занято! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья подстрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!

— Я ласточек не стреляю, — поспешил я заметить.

— А то раз, — начала опять Лукерья, — вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близехонько и долго-таки сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы.

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были, как я буду держать ее,

книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принес календарь; да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я Его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест — значит меня Он любит. Так нам велено это понимать. Прочту отче наш, богородицу, акафист всем скорбящим — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты две. Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел.

— Послушай, Лукерья, — начал я наконец. — Послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряжусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу? Кто знает, быть может, тебя еще вылечат? Во всяком случае ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями.

— Ох, нет, барин, — промолвила она озабоченным шепотом, — не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить!.. Вот так-то раз доктор сюда приезжал; осматривать меня захотел. Я его прошу: «Не тревожьте вы меня, Христа ради». Куда! Переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгибал; говорит: «Это я для учености делаю; на то я служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за

мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь». Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь — мудрено таково — да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смиренная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погутарят; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже лучше, ей-ей!.. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу... Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.

— Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал...

— Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете кроме меня нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно!

— О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, кроме своего счастья.

Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась — так же как и остальные члены.

— Как погляжу я, барин, на вас, — начала она снова, — очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая я была в свое время

веселая? Бой-девка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. Ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится.

— Как же ты поешь их... про себя?

— И про себя, и голосом. Громко-то не могу, а все — понять можно. Вот я вам сказывала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...

Лукерья собралась с духом... Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук... за ним последовал другой, третий. «Во лузях» пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить... Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу! — проговорила она вдруг, — силушки не хватает... Очень уж я вам обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики... Она взглянула на меня — и ее темные веки, опущенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновение они заблестали в полутьме... Слеза их смочила.

Я не шевелился по-прежнему.

Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу. — Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось... с самого того дня как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал — ну, ничего; а как ушел он — поплакала я-таки в одиночку! Откуда бралось!.. Да ведь у нашей сестры слезы некупленные. Барин, — прибавила Лукерья, — чай, у вас платочек есть... Не побрезгуйте, утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить ее желание — и платок ей оставил. Она сперва отказывалась... на что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице — так по крайней мере мне казалось — следы ее бывалой красоты.

— Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я точно редко, но всякий раз сны вижу, — хорошие сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я, потянуться хочу хорошенько — ан я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам? — Ну, слушайте. — Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту

самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался — так вот я себе веноч сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе веноч свить. А между тем я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а Сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким Его не пишут, а только Он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста Моя разубранная, ступай за Мною; ты у Меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к Его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у Него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за Ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видела я сон, — начала она снова, — а быть может, это было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего

не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно; одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину.

— А то вот еще какой мне был сон, — продолжала Лукерья. — Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники; лица у всех унылые и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радехонька, крещусь! И говорит мне та женщина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собою не могу. Прощай!» Господи! Как мне тут грустно стало!.. «Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!» и смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, что назначает она

мне мой час, да непонятно так, неясвенно... После, мол, петровок... С этим я проснулась... Такие-то у меня бывают сны удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху... задумалась...

— Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня да и дала мне стекляночку с лекарством против бессонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь та стекляночка выпита... Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?

Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую стекляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпению.

— Эх, барин! — возразила она. — Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое: тридцать лет на столбу простоял! А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь и муравьи ему лицо ели... А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всех жителей они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненной смертью за свой народ помереть». И агаряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился! Вот это подвиг! А я что!

Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет?

— Двадцать восемь... али девять... Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам еще вот что доложу...

Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула...

— Ты много говоришь, — заметил я ей, — это может тебе повредить.

— Правда, — прошептала она едва слышно, — разговорке нашей конец; да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности душу отвела...

Я стал прощаться с нею, повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава Богу, — с величайшим усилием, но умиленно произнесла она. — Дай Бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные, хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас Богу помолились... А мне ничего не нужно, всем довольна.

Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу и подходил уже к дверям... она подозвала меня опять.

— Помните, барин, — сказала она. И чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах, — какая у меня была коса? Помните — до самых колен! Я долго не решалась... Этакие волосы!.. Но где же их было расчесывать? В моем-то положении! Так уж я их и обрезала... Да... Ну. Простите, барин! Больше не могу...

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским<sup>1</sup>. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «Живые мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слышать, ни жалоб. «Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна;

<sup>1</sup> Десятский — род полицейского надзирателя из крестьян.

тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая, — так заключил десятский, — стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пуцай ее!»

\* \* \*

Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней... и «после петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и день был будничным. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба.